

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕВОЙ ПЕЧАТИ — НАША ЗАДАЧА»

Статья Б. А. Бялика

Предлагаемый вниманию читателя том «Литературного наследства» включает в себя неизданную переписку Горького с рядом литературных и общественных деятелей дооктябрьской России. Некоторые из публикуемых здесь писем Горького уже были известны ранее по тридцатитомному собранию его сочинений и по другим изданиям, но и они предстают ныне в новом свете, поскольку даются вместе с письмами адресатов. А в своем подавляющем большинстве материалы настоящего тома становятся известными впервые, дополняя прежние многочисленные публикации еще далеко не исчерпанного богатейшего эпистолярного наследия великого писателя.

«Литературное наследство» уже внесло в эти публикации свою лепту. В 1963 г. вышел том 70 — «Горький и советские писатели», в 1965 г. — том 72 — «Горький и Леонид Андреев».

Настоящий том, связанный с журнально-издательской деятельностью Горького, охватывает очень широкий круг проблем. О некоторых из них, особенно волновавших писателя, и пойдет речь в этом введении.

I

Как уже сказано, публикуемая переписка связана с журнально-издательской деятельностью Горького. Так, в письмах к А. В. Амфитеатрову, Е. А. Ляцкому и Н. К. Муравьеву отражены его попытки реорганизовать и поднять до уровня передовых задач демократической печати журнал «Современник», в письмах к В. П. Краинхфельду и к Н. И. и М. К. Иорданским — попытки повлиять на направление журнала «Современный мир», переписка с В. С. Войтинским относится к созданию журнала «Летопись», ряд собранных вместе материалов относится к изданию большевистского журнала «Просвещение» и т. д. В рамках этой статьи невозможно подробно осветить историю тех изданий, которые упоминаются в настоящем томе¹. Сосредоточим здесь внимание на отдельных вопросах, возникавших перед Горьким как журнально-издательским деятелем и бывших для него наиболее важными.

В одном из писем, включенных в настоящий том (к Н. К. Муравьеву от 9/22 сент. 1912 г.), Горький заявлял: «Организация левой печати — наша задача. По крайней мере я считаю это моей задачей». Задача эта отнимала у писателя много времени и сил, но очень редко приносила ему в тот период чувство удовлетворения. Он с горечью признавался в другом письме (к В. П. Краинхфельду не позднее 9/22 июня 1912 г.): «...Вы приписываете мне акушерскую роль в рождении новых журналов. Так — грешен, помогал, по мере сил, и, как Вы справедливо заметили, пока все безуспешно — детишки рождаются уродцами. Но в том, что дети худосочны, не акушер виноват, а сквернейшая наследственность: родители — народишко, истощенный долголетним духовным недоеданием, а, главное, индивидуалисты, наподобие ежей и спрутов». Но, и говоря (с несомненным преувеличением) о безуспешности своих журнальных начинаний, Горький не только не ослаблял своего участия в «организации левой печати», а делал его все более активным: «Акушерская практика не дает мне ни удовлетворения, ни заработка, но — „дай бог г больше нам журналов, плодят читателей они“» (Г—СМ, п. 20).

Чтобы понять, почему участие писателей-художников слова в «организации» печати стало в рассматриваемый период таким трудным и вместе с тем таким важным, надо вспомнить о все усиливавшейся роли журналистики в общем литературном процессе. Дело не только в том, что литературно-художественная журналистика (журналы, периодические выходящие сборники и альманахи, литературные отделы газет) быстро росла количественно, но и в том, что увеличивалось ее влияние на все стороны общественной жизни. Это объяснялось и неуклонным расширением круга «читателей-друзей» из демократических слоев народа, и все большим втягиванием этих слоев в обостряющуюся идейную и политическую борьбу. В период с 90-х годов XIX в. до 1917 г., когда на авансцену русской истории вышло поколение пролетарских революционеров и произошли три революции, возникла настоятельная необходимость развить дальше лучшие традиции передовой журналистики прошлого столетия, прежде всего — верность избранному направлению.

В. Г. Короленко писал в 1904 г. на пороге первой русской революции в некрологе «Николай Константинович Михайловский»: «За отсутствием парламентской и иной трибуны, с которой русское общество могло бы принимать участие „действенным словом“ в судьбах нашей родины, — у нас, естественно, в силу самой логики вещей, сложился особый характер общественно-политической прессы, ярче всего выражаемый журналами. Русский ежемесячник — не просто сборник статей, не складочное место иной раз совершенно противоположных мнений, не обозрение во французском смысле. К какому бы направлению он ни принадлежал, — он стремится дать некоторое идейное целое, отражающее известную систему воззрений, единую и стройную. Нападки на эту якобы „доктринерскую узость“ составляют издавна общее место нашей реакционной печати. И однако — такова сила вещей, которую передовая журналистика ставит перед собой совершенно сознательно и которая является несознательным законом для печати реакционной: мы помним несколько попыток основания журналов „без направления“ или „терпимых ко всем направлениям“. Все они кончались жалкими неудачами...»²

В этих суждениях Короленко многое было верным и метким, хотя он как народник не шел дальше защиты общедемократической направленности журналистики. В. И. Ленин заметил в одном из писем к Горькому 9/22 ноября 1910 г.: «Есть направление у „Русского Богатства“ — народническое, народнически-кадетское, но направление...» Это замечание В. И. Ленин сделал в связи с участием Горького в журнале «Современник», призывая его не ограничивать себя общедемократическими рамками. В том же письме В. И. Ленина сказано: «Сегодня читаю в „Речи“ объявление о „Современнике“, издаваемом „при ближайшем и исключительном (так и напечатано! неграмотно, но тем более претенциозно и многозначительно) участии Амфитеатрова“ и при Вашем постоянном сотрудничестве». Противопоставляя этот журнал сборникам горьковского издательства «Знание», В. И. Ленин писал: «„Большой ежемесячный“ журнал, с отделами „политики, науки, истории, общественной жизни“, — ведь это совсем, совсем не то, что сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы. Ведь такой журнал либо должен иметь вполне определенное, серьезное, выдержанное *направление*, либо он будет неизбежно срамиться и срамить своих участников (...). А какое же направление может быть при „исключительном участии“ Амфитеатрова? (...) Амфитеатровский журнал (хорошо сделало его „Красное Знамя“, что вовремя умерло!) есть политическое выступление, политическое предприятие, в котором даже и сознания нет о том, что общей „левизны“ для политики мало, что после 1905 года всерьез говорить о политике без выяснения отношений к марксизму и к социал-демократии нельзя, невозможно, немислимо»³.

Как точно определил В. И. Ленин «направление» нового журнала (общая «левизна» при отсутствии определенного отношения к марксизму и к конкретным задачам революции) — об этом свидетельствует письмо Амфитеатрова к Горькому от 4 октября 1910 г.: «Журнал будет ровный, твердый, социалистический, ясный, внепартийный. Словом, буду вести, поскольку смогу, политически — „Красное знамя“ без антицаризма открытого, литературно — утверждение хороших русских традиций реализма в художественном и словесном творчестве». Горького привлекла

именно литературная, художественная программа журнала — защита традиций реализма (это имело для него тем большее значение, чем меньше удовлетворяло его отношение директора-распорядителя издательства «Знание» К. П. Пятницкого к задаче защиты реалистических традиций от наступающего на них модернизма). Кроме того, он надеялся превратить «Современник» во «всероссийский» журнал, в орган «разноплеменной» литературы России, сплачивающий передовые литературные силы всех национальностей страны. Однако идейно-политическое направление журнала вызывало и у него сомнения, которые усилились после критических замечаний В. И. Ленина.

В письмах к Амфитеатрову, написанных в ноябре, не ранее 12/25, и 1 или 2 декабря 1910 г., Горький протестовал против появившегося в газете «Речь» объявления о журнале «Современник», где было жирным прифтом набрано: «при постоянном сотрудничестве Максима Горького» («Очень мешает мне это похоронное объявление!»), и где говорилось о «ближайшем и исключительном участии» А. Амфитеатрова («это едва ли грамотно»). Еще важнее то, что Горький стал пристально следить за идейным пафосом журнала, вызывавшим у него все больший протест. В конце концов он отказался от участия в «Современнике», откровенно заявив в письме к Амфитеатрову: «Нисколько не умаляя моего к Вам уважения, я, по совести, должен сказать, что единоличное руководство литературно-политическим журналом не считаю работой посильной для Вас, и уверен, что Вы с нею не справитесь» (Г—А, п. от начала ноября 1911 г.).

Отношение Горького к Амфитеатрову, переписка с которым занимает самое большое место в настоящем томе, было не простым. Не забывая о «нововременском» прошлом Амфитеатрова⁴, Горький считал, что желание заставить других забыть об этом прошлом побуждало его удариться в псевдореволюционные крайности — вроде защиты эсеровского бойкотизма и терроризма. Не закрывал Горький глаза и на слабые стороны его литературного творчества, — он признался в начале их переписки: «Порою — со злобой на вас — видел, как вы руками мастера, способного лепить крупные фигуры, — создаете безделушки для забавы сытых и праздных мещан». Тогда же он писал Пятницкому об Амфитеатрове: «Он все же — талант, хотя грубый, для улицы, для мещанина»⁵. Позднее Горький отметил: «Хорошо стал писать Амфитеатров»⁶. Но это не помешало ему еще позднее с огорчением заметить в письме к одному литератору: «Ваша манера писать невольно внушает подозрение, что Вы слишком много читали книг Амфитеатрова» (XXIX, 318). И все же Горький готов был многое простить Амфитеатрову за борьбу против нападок на русскую классическую литературу. Он писал Пятницкому: «Амфит(еатров) — очень популярен, как Вы знаете, главное же, он искренно любит литературу и искренно возмущен ее порчей. Я жду от него интересных вещей» (XXIX, 60). Вот почему, порвав с амфитеатровским «Современником», Горький не порвал сразу с самим Амфитеатровым. Иначе сложились его отношения с новым руководителем «Современника» — Е. А. Ляцким, постаравшимся вернуть Горького в журнал.

Ляцкий привлек к себе Горького и своим интересом к фольклору, и работами о Чернышевском, и — так поначалу казалось — общим прогрессивным направлением. Поначалу казалось, что Ляцкий отрицательно относится к меньшевикам, — Горький писал ему 25 ноября/8 декабря 1912 г.: «Г.г. меньшевики и меня одолевают. Это — племя „дипломатическое“ и безмерно скучное. Если они захватят журнал целиком в свои руки, — то т° его будет температурой трупа. Но — этого не случится, я уверен» (Г—Ляц, п. 33). Однако вскоре выяснилось, что еще более отрицательно относится Ляцкий к большевикам. Горькому еще не было известно то, что получило отражение в феврале 1912 г. в дневнике К. П. Пятницкого: «Ляцкий говорит, что не позволит превратить „Современник“ в большевистский орган» (Г—Ляц, п. 49, прим. 10). Но он ощутил фальшь сообщения Ляцкого о настроениях, которое тот «застал» у П. И. Певина и В. Я. Богучарского: они «...стоят на позиции блоковой (левее кадетов), приемлют марксизм как метод научного объяснения, но „большей определенности“ в смысле уклона к большевизму боятся, как жупела» (Г—Ляц, п. 52). Горькому было очевидно, что Ляцкий не «застал»

такое настроение, а сам подсказал его, и он не скрыл своего возмущения такой неискренностью: «...Ваша описка (...) сильно изменяет мое отношение лично к Вам» (п. 54).

Одновременно росло возмущение Горького все более определяющимся характером «Современника», — в марте 1913 г. он обратился к редакции журнала: «...я принужден заявить, что, если книжкам „Совр(еменника)“ и впредь будет придаваться такой же эклектически-анархический характер, если редакция и в будущем останется равнодушной к вопросу внутреннего идейного единства, — я попрошу не считать меня более сотрудником „Современника“» (Г—Ляц, п. 51). Он так и поступил после получения ответного письма Ляцкого, переполнившего чашу его терпения. Чтобы стала яснее причина «взрыва» его гнева, надо вспомнить о двух его суждениях. Одно из них содержится в письме к Кранихфельду не позднее 9/22 июня 1912 г.: «И я уверен, что, если бы игроки разобрали все карты — козыри остались бы в руках с.-д., как группы наиболее богатой талантами» (Г—СМ, п. 20). Другое подытожило отношение Горького к журналу «Русская мысль», оказавшемуся в руках П. Б. Струве и других кадетов, — оно содержится в письме к С. В. Малышеву от 26 января/8 февраля 1915 г.: «Препротивные букашки, главная их квартира в той щели, которая зовется „Русской мыслью“...» (ХХ/Х, 330). А теперь вчитаемся в ответ Ляцкого — в письме от 7/20—8/21 мая 1913 г. — на упрек Горького относительно «эклектически-анархического» характера «Современника» и отсутствия в редакции журнала людей «с устойчивым миросозерцанием»: «Беда журнала в данный момент не столько в недостатке таких лиц в недрах самой редакции, сколько в отсутствии талантливых и ярких писателей по социально-политическим вопросам. Все, что было талантливого в этом смысле в интеллигентской среде, собралось вокруг „Русской мысли“, а писатели-демократы, как я вижу теперь, являясь отличными партийными работниками, до толстого всероссийского журнала еще не доросли: за немногими исключениями, почти все они страдают недомоганием культурного самосознания» (Г—Ляц, п. 58). Горький откликнулся на это письмо 14/27 мая 1913 г. словами, имеющими принципиальное значение: «Это заявление Ваше совершенно определенно отталкивает меня от журнала и всякого участия в нем. Я не стану напоминать Вам, что русскую журналистику создал писатель-демократ, что она кристаллизовалась из крови демократической интеллигенции, — как историк литературы, Вы сами знаете это» (Г—Ляц, п. 59). В дальнейшем Горький уже никогда не соглашался на совместную работу с Ляцким и на восстановление их личных отношений.

В. И. Ленин всячески поощрял участие Горького в большевистской печати. Например, он писал ему в начале 1912 г., имея в виду появление горьковских «Сказок об Италии» в большевистской газете «Звезда»: «Великолепными „Сказками“ Вы очень и очень помогли „Звезде“, и это меня радовало чрезвычайно, так что радость — ежели говорить прямо — перевешивала грусть от Вашего „романа“ с Черновыми и Амфитеатровыми...» И, касаясь неудачи Амфитеатрова и Чернова с «Современником», добавлял: «Рад, каюсь, что у них „лопается“»⁷. Но, стремясь как можно теснее связать Горького с партийной прессой, Ленин отнюдь не брал под сомнение полезность участия писателя в общедемократической журналистике. Дело было не только в необходимости где-то печататься, но и в принципиальной важности влияния на демократическую печать. И это нисколько не противоречило тому, что требование выдержанности ее направления (вспомним суждения Короленко) поднялось у Ленина до требования ее партийности.

Ленин писал, что марксисты должны «принять общедемократические пункты» народнической программы⁸. И он же упрекал Горького за попытку «согнуться до точки зрения *общедемократической* вместо точки зрения *пролетарской*»⁹. С точки зрения Ленина, то, что составляло сильную сторону народников, было уже недостаточно для марксистов, для пролетарского писателя Горького. Ведь, призывая принять «общедемократические пункты» программы народников (отвергая при этом все ее «реакционные черты»), Ленин считал необходимым «провести их точнее, глубже и дальше»¹⁰, чем это могли делать сами народники. В том-то и дело, что самый последовательный демократизм мог развиваться именно на основе пролетар-

ской, марксистской, социалистической программы. В том-то и дело, что сохранять в полной мере общедемократические позиции, оставаясь лишь в их пределах, было в рассматриваемый исторический период уже невозможно, — это не парадокс, а диалектика реального исторического процесса.

Когда В. И. Ленин высказывал свои критические замечания относительно «романа» Горького «с Черновыми и Амфитеатровыми», его тревожил не самый факт участия писателя в «Современнике», а то, что он начинал делить с идейно далекими от него деятелями ответственность за руководство журналом, давая им возможность прикрываться его именем, его авторитетом. И Горький, хорошо поняв это, потребовал исключить из объявления о выходе журнала слова об его «постоянном сотрудничестве», а затем, когда его попытки повлиять на сменявшие друг друга редакции и добиться от журнала последовательно демократической линии не увенчались успехом, — совсем порвал с «Современником». О том, как относился Горький к демократической журналистике и какой представлялась ему его роль в ней, говорит его письмо к М. К. Иорданской, написанное в январе 1911 г.: «Организация демократии — очередная задача. Вы это понимаете, конечно; действуйте же в этом направлении определеннее и резче, старайтесь завоевать журналу симпатии в низах — в этом я вам неизменный помощник» (Г—СМ, п. 9). И Горький действительно сыграл роль такого помощника по отношению к ряду изданий — было бы глубокой ошибкой недооценивать принесенную им пользу. Но, когда он начинал понимать, что то или иное издание отходит от передовых задач демократической печати и начинает воспитывать «низы» в совсем другом духе, его отношение к такому изданию резко менялось.

Многие документы свидетельствуют о том, как с помощью Ленина Горький утверждался на позициях партийности литературы, а значит, и на позициях последовательного демократизма. 8/21 сентября 1912 г. он ответил В. А. Тихонову на предложение участвовать в задуманном журнале «Кругозор»: «На вопрос о сотрудничестве моем в журнале „Кругозор“ я не могу ответить вам ни да, ни нет, ибо вы не сообщаете ни имен ближайших сотрудников ваших и членов редакции, ни программы, согласно которой организуется журнал (...) Реализм в литературе — это касается только отдела беллетристики и ничего не говорит о политической линии журнала» (Г—Т, п. 5). Горький порвал с журналом «Заветы» после выхода его первого номера, когда увидел, что редакция не выполнила данного ему обещания и напечатала вместе с его рассказом «Рождение человека» ренегатский роман Ропшина (Б. В. Савинкова) «То, чего не было». А получив в середине августа 1912 г. письмо от Ленина с отрицательной характеристикой журнала «Запросы жизни» («Странный, между прочим, журнал, — ликвидаторски-трудовическо-вехистский»¹¹), Горький написал редактору этого журнала 19 августа/1 сентября 1912 г.: «От дальнейшего сотрудничества в „Запросах жизни“ я отказываюсь (...) „Беспартийность“ „Запросов“ ж(изни) становится постепенно своеобразной партийностью без программы — худшим видом партийности: он дает широкий простор различным настроениям, но едва ли способен воспитать и организовать политическую мысль» (XXIX, 250).

Горький все больше приближался к пониманию ленинского принципа партийности как условия, обеспечивающего литературе подлинную внутреннюю свободу. Он писал Ляцкому 10/23 января 1913 г.: жизнь «обязывает нас ставить все вопросы наиболее конкретно, так напр(имер), если нам говорят: жажду свободы! — мы должны всесторонне разобрать, от чего именно желает освободиться сей жаждущий!» И он пояснил эту мысль примером: «Г(осподину) Щеголеву кажется высокой степенью свободы стремление редакции „Заветов“ устроить из своего журнала универсальный магазин всякой беллетристики и всяких мнений — именно это свободолюбие заставило меня уйти из „Заветов“. Я не могу понимать свободу как безразличие, как право человека отрицать сегодня то, что он утверждал — да еще догматически — вчера» (Г—Ляц, п. 49). В том же 1913 г. Горький писал в статье «Еще о „карамазовщине“» по поводу предъявленного ему одним литератором обвинения в желании «сжечь» произведения Достоевского: «Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и ценю не менее почтенного литератора. Он очень громогласно

объявил городу и миру о своем безграничном свободолюбии, но каждый раз, когда я слышу такие объявления, мне хочется спросить объявителя:

„А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?“ (XXIV, 152).

Против такого фальшивого и лицемерного оперирования понятием «свобода» неустанно выступал В. И. Ленин. Он писал в 1902 г. в своей программной работе «Что делать?»: «Свобода — великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны, под знаменем свободы труда — грабили трудящихся». В. И. Ленин с гневом и презрением обращался к защитникам такого «свободолюбия», имея непосредственно в виду модный лозунг «свободы критики», направленный против марксистских «догм»: «...не пачкайте великого слова свобода...»¹² Особенно широко Ленин поставил вопрос о подлинной и мнимой свободе в ноябре 1905 г., между двумя высшими гребнями первой русской революции, в статье «Партийная организация и партийная литература». Обращаясь к тем, кто отстаивал «абсолютную» свободу абсолютно-индивидуального идейного творчества», Ленин писал: «...господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие (...) Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как мирозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». И он призывал «лицемерно-свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно-свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу»¹³. В 1919 г. в заметках «О диктатуре пролетариата» Ленин требовал конкретной постановки вопроса о понятии «свобода»:

«Свобода для кого?

» от кого? от чего?

» в чем?»¹⁴

А в 1921 г. он задавал такие же прямые и беспощадные вопросы человеку, защищавшему «абсолютную» свободу печати:

«...какую свободу печати? для чего? для какого класса?

Мы в „абсолюты“ не верим»¹⁵.

Эта проблема не утратила своей остроты и в наше время, когда буржуазные идеологи превратили защиту различных «абсолютов» едва ли не в главное оружие борьбы против подлинно демократических идейных принципов. Когда в 1978 г. представители 146 государств, собравшиеся в Париже на XX сессию ЮНЕСКО, приняли Декларацию об основных принципах, которыми должны руководствоваться все средства массовой информации в борьбе за мир и за международное взаимопонимание и против расизма, апартеида и подстрекательства к войне, — уже самый факт определения таких принципов был оценен в американской прессе как покушение на свободу печати. В специальной редакционной статье «Нью-Йорк таймс» утверждалось, что в Декларации ЮНЕСКО «неправильно истолкована» идея «свободы слова»: «Давайте прямо заявим (...) что для американцев не может быть свободы слова или „сбалансированной информации“, если тем, кто выступает за расизм и апартеид, а также и за войну, не будет тоже предоставлена свобода слова». Но дело здесь не только в буржуазной прессе, столь же рьяно отстаивающей «абсолютную свободу» пропаганды человеконенавистничества, культа насилия, порнографии и т. п. Тогда же, в 1978 г., когда проходила XX сессия ЮНЕСКО, и там же, в Париже, почти одновременно с упомянутой Декларацией был обнародован манифест Комитета интеллектуалов в защиту Европы Свобод. В этом манифесте, напечатанном в газете «Монд» под заглавием «Культура против тоталитаризма», говорилось, что лозунги «политика прежде всего» и «политика повсюду» должны уступить место лозунгу «культура прежде всего», и далее было сказано: «Комитет призван побудить интеллигенцию, живущую во Франции и убежденную в необходимости защищать идеологический плюрализм, разнообразие, традиции и самопроизвольность культуры, противостоять тем ограничениям человеческого разума, которые ему навязывает грубая или скрытая диктатура „историче-

ского детерминизма“... Авторы манифеста не скрывали того, что под «историческим детерминизмом» они разумели марксизм. Иными словами, они отстаивали такой «идеологический плюрализм», который исключает марксизм, такое «разнообразие», которое исключает марксизм, такое освобождение культуры от политики, которое означает политическую травлю марксизма.

Как все это близко к тому, с чем имели дело в предоктябрьский период в России Ленин, Горький и все защитники передовых, прогрессивных, подлинно демократических идей! Вспомним хотя бы отклик Н. А. Бердяева на выдвижение принципа партийности литературы — статью «Революция и культура», напечатанную в кадетском еженедельнике «Полярная звезда». Бердяев заявил, что и опубликованный в большевистской газете «Новая жизнь» ленинский проект «организации литературы» (статья «Партийная организация и партийная литература»), и напечатанные там же горьковские «Заметки о мещанстве» и «подлизывание к новой силе бывших мечтателей» (выступления в «Новой жизни» отдельных представителей модернизма, увлеченных революционными веяниями) — «все это показатели безыдейности и духовного умирания, до которого довело несчастную Россию самодержавие»¹⁸. Вот что писалось и печаталось в журнале П. Б. Струве в те дни, когда самодержавие начало кровавую расправу над «новой силой», пугавшей Струве, Бердяева и других застрашнных авторов сборника «Вехи» гораздо больше, чем старая, и бывшей им гораздо более ненавистной. Нападки на революцию под флагом защиты культуры продолжил после «Полярной звезды» и другой кадетский еженедельник, «Свобода и культура», а затем и названный сборник «Вехи», авторы которого протестовали против «засилия политики» так же энергично и так же фальшиво, как и авторы недавнего французского манифеста, защищающего «культуру» от «тоталитаризма». Понятно, почему у Горького вызвало такой гнев утверждение Ляцкого, что писатели-демократы, всецело отдаваясь политике, «страдают недопомоганием культурного самосознания» (Г—Ляц, п. 58). Понятно и то, почему Горький изобразил в 1906 г. в пьесе «Враги» реакционера, сторонника «расовой философии» Николая Скроботова, предлагающего противопоставить призыву «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» призыв «Культурные люди всех стран, соединяйтесь!»

Иллюзия «свободы» и «независимости» от всех классов, партий, диктатур, «тоталитаризмов» — разве она не остается с поры революции 1905—1907 гг., первой народной революции эпохи империализма, одним из главных признаков и главных орудий буржуазной идеологии? Созданная сразу же после начала московского Декабрьского восстания, «Полярная звезда» заявила на первой же странице своего первого номера (он вышел 15 декабря 1905 г.), что она будет бороться против «всякого насилия, исходит ли оно от власти или от анархии» (читай: революции). В том же номере Д. С. Мережковский писал об интеллигенции, что она находится «между двумя гнетами: гнетом сверху — самодержавного строя и гнетом снизу — темной народной стихии». Можно ли удивляться тому, что после поражения первой русской революции, в обстановке начавшегося «либерального ренегатства», у Горького возник замысел «Жизни Клима Самгина» — произведения о человеке, который хочет думать, что он «абсолютно свободен» от всех и всяких «гнетов», и видит свое призвание в том, чтобы быть представителем «демократии» как «класса, независимого от насилий капитала и пролетариата». Замысел этот был осуществлен через много лет, но не утратил от этого актуальности и не утрачивает ее до сих пор.

Для чего здесь говорится обо всем этом? Для того чтобы подчеркнуть значение многих включенных в настоящий том материалов — значение их не только для своего времени, но и для нас сегодня.

II

Ряд проблем, освещенных в публикуемой переписке, был связан у Горького с темой, которая всегда его волновала, а в отдельные моменты становилась источником мучительных сомнений и колебаний: с темой России, русского народа, русского национального характера. После поражения революции 1905—1907 гг., в пери-

од мрачной реакции, когда немало русских литераторов разочаровалось в родной стране и родном народе и впало в пессимизм и скептицизм, Горький писал К. П. Пятницкому: «...я люблю русскую литературу, люблю страну и верю в ее духовные силы. Это — большая любовь» (XXIX, 76). Любовь эта наполняла собой все творчество Горького. Но бывало, что он с болью признавался близким людям: «Мне вообще очень трудно живется (...) Кажется, я теряю главное, чем жил, самое дорогое мое — веру в Россию, в ее будущее»¹⁷.

Такое настроение возникало у Горького нечасто, но оно все же нашло отражение в его наследии, правда не столько в художественном, сколько в публицистическом и эпистолярном, в том числе в некоторых письмах, включенных в настоящий том. Разобраться в этом вопросе надо и для того, чтобы лучше понять ошибки и заблуждения писателя, и для того, чтобы полнее оценить ту спасительную роль, которую сыграли в его судьбе Ленин и ленинские идеи. Следует также помнить о том, что на ошибочных суждениях Горького о русском народе, особенно о русском крестьянстве, до сих пор играют те, кто пытается бросить тень на все наследие великого писателя. Изучение горьковской переписки, в частности той, которая публикуется в настоящем томе, поможет отделить в этом наследии основное — верное от второстепенного — ошибочного и понять всю огромную непреходящую ценность основного, обогатившего и продолжающего обогащать нашу культуру.

С какими проблемами были связаны у Горького раздумья о России и русском народе? Прежде всего с проблемой отношений рабочего класса и крестьянства. Уже в самом начале XX в., оспаривая народническую идеализацию патриархального крестьянства с его общинным укладом и доказывая решающее значение пролетариата, Горький писал поэту-народнику П. Ф. Якубовичу: «...я вижу, как растет самосознание того класса на кот(орый) только и мож(но) опир(аться) (...) Обидно мне за статьи Н. М(ихайловского). Неужели он не хочет соглас(иться), что тепер(ешнее) теч(ение) р(усского) м(арксизма) прогрессивно? А он борется с (ним), как с врагом...»¹⁸ Необходимо вспомнить в этой связи и о борьбе Горького против национализма и шовинизма, против того насквозь фальшивого «квасного патриотизма», который заметно усилился в среде буржуазной интеллигенции на подступах к первой мировой войне и еще больше после того, как она началась. Отстаивая интернационализм, Горький стремился к объединению и сплочению всех национальностей России, всех ее национальных литератур. В 1912 г. он писал Д. Н. Овсяннику-Куликовскому по поводу своего стремления перестроить журнал «Современник»: «Как попытка объединения литераторов всех народностей začínается журнал в России...» (XXIX, с. 214). И еще об одной проблеме следует вспомнить в этой связи: о борьбе Горького против «восточной» пассивности — о той борьбе, которая прошла через все его творчество и через все его идейное развитие. Оглядываясь в 1917 г. на пройденный им путь в литературе, Горький заявлял: «Смысл двадцатипятилетней общественной работы моей, как я понимаю ее, сводится к страстному моему желанию возбудить в людях действенное отношение к жизни»¹⁹.

В постановке этих проблем проявились наиболее сильные стороны Горького, но с этими же проблемами были связаны и его самые серьезные ошибки. Приводя французскую поговорку, гласящую, что недостатки человека обычно связаны с его достоинствами, В. И. Ленин так разъяснял и развивал ее смысл: «Но если достоинства продолжают больше, чем надо, обнаруживаются не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками»²⁰. Борьба Горького против «восточной» пассивности была справедлива и необходима, но она продолжалась «больше, чем надо», когда оказывалась обращенной против широких народных масс. Вспомнив об этой своей ошибке в советские годы и осуждая ложные оценки русского народа, Горький писал: «Автор вот этих строк, возмущенный терпением крестьянства и его забитостью, временами теряя понимание смысла истории, тоже думал о своем народе не очень ласково» (XXVI, 154). Проявлялась иной раз «не тогда, когда надо, и не там, где надо», и горьковская — в целом справедливая и необходимая — борьба против шовинизма. Касаясь слов Горького о «хрупкости» и «шат-

кости» русской мелочной души, Ленин писал ему, переводя разговор из национального плана в социальный и переадресуя горьковские слова всякой мелочной душе: «почему русской? а итальянская лучше?»²¹. Но, критикуя и эту, и другие ошибки писателя, Ленин рассматривал их как «то, что составляет его слабую сторону, что входит отрицательной величиной в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы»²².

Правильность и точность такой постановки вопроса подтверждается публикуемой перепиской. В ней есть и такие горьковские суждения, в которых он, теряя в отдельные моменты «понимание смысла истории», оценивал родной народ, особенно русское крестьянство, «не очень ласково». Но гораздо больше в ней суждений Горького, которые вопли «в сумму приносимой им пролетариату громадной пользы». Критикуя один из рассказов С. С. Кондурушкина за то, что он отличается «как бы нарочитой грубостью» в изображении крестьянской жизни, Горький писал 27 января/10 февраля 1908 г.: «В наши дни, вновь разочаровавшаяся в силе народа, интеллигенция тщательно ищет всюду фактов для обвинительного акта русскому мужику, повинному в некультурности, зверстве всяческом и т. д. и т. п. — не давайте вы милым забавникам лишнего факта к их коллекции!» (Г—К, п. 4). Прочитав в январе 1911 г. книгу И. А. Родионова «Наше преступление. Не бред, а быль. Из современной народной жизни» (она появилась в 1909 г. и успела выйти до 1911 г. несколькими изданиями, получив положительные отзывы — за якобы «правдивость» — в буржуазной прессе), Горький стал инициатором разоблачения этой книги как черносотенной клеветы на народную массу. О необходимости разоблачения этой клеветы он написал Амфитеатрову, а также М. К. Иорданской: «...книга эта так гадка, а, в то же время, на нее так часто ссылаются как на правдивое освещение действительности, что ей следовало бы посвятить маленькую статейку или большую рецензию(...) Думаю также, что напечатать такую рецензию — долг порядочных людей и демократов» (Г—СМ, п. 9).

Среди публикуемых в настоящем издании материалов, содержащих суждения о русском крестьянстве и о русском народе в целом, особое значение имеет письмо Горького к Амфитеатрову от 1 или 2 декабря 1910 г. В этом письме есть такое место: «Пишущему о Короленко надо посоветовать: обратил бы внимание на Тюлина в „Река играет“, указал бы, что наверху нас — все еще Обломов жив, а внизу — Тюлин живет — эти двое и провалили 905 год». Амфитеатров решил написать о Короленко сам. Сославшись на письмо Горького, он заметил: «Встреча с перевозчиком Тюлиным („Река играет“) вылилась поистине „перлом создания“, вырос новый всероссийский тип „Обломова снизу“»²³. В этих словах мысль Горького была передана крайне неточно. Хотя он и считал, что Тюлины делят с Обломовыми ответственность за поражение революции 1905 года, — это не означало их отождествления. В. И. Ленин называл «серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании» в России неподготовленность крестьянской массы к борьбе, «толстовское непротивление злу», «патриархальную толстовскую идеологию» — «отражение мягкотелости патриархальной деревни»²⁴. Но Ленин не сводил к этому все настроения, все стремления и действия крестьянской массы — иначе он не характеризовал бы Льва Толстого как «зеркало русской революции». Первая русская революция потерпела поражение потому, что в большей части крестьянства еще преобладала пассивность. Однако другая его часть — пусть и меньшая — уже боролась, пока непоследовательно и неорганизованно, но со всей силой накопившейся в ней ненависти и отчаянной решимости. Именно такой была точка зрения Ленина, который видел в крестьянской массе не только одну из причин поражения первой русской революции, но и главный источник ее размаха, видел в ней главного союзника пролетариата. У Горького еще не было тогда такой ясности понимания роли крестьянской массы в революции; он еще допускал в этом вопросе колебания и ошибки. Но направление его мысли было близко к ленинскому.

В 1918 г., в первом из трех своих мемуарных очерков о Короленко, Горький писал: «...за 25 лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л. Н. Толстого. В. Г. Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции,

значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать». И Горький вспоминал в этой связи о рассказе Короленко «Река играет» и о герое его — Тюлине: «...правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великоруса — того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле» (16, 426). Разумеется, Горький не сводил заслуг Короленко как писателя к созданию образа Тюлина — он высоко ценил многие его художественные произведения и его мужественную публицистику. Однако особенно высоко он ставил именно рассказ «Река играет». Он писал в 1913 г. Короленко: «...это любимый мой рассказ; я думаю, что он очень помог мне в понимании „русской души“ — души тех людей, которые, год порабатывая, — десять лет отдыхают в грязи и всяческом хаосе. Говорят, я довольно удачно читал рабочим реферат, темой которого была роль Тюлина в русской истории, — у меня вышло так, что и Минин, и Болотников, и Пугачев — все Тюлины! Что поделаешь?» (XXIX, 314). У Горького были и другие суждения такого рода.

Уже в 1893 г., вскоре после появления рассказа «Река играет», Горький, согласно его воспоминаниям, оценил героя рассказа как «изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина, „героя на час“» (16, 241). В последующие годы он неоднократно вспоминал в своих письмах и статьях о Тюлине, видя в нем «выражение национального русского характера» (1899) (XXVIII, 104), «верный очерк национального типа» (1909) (XXIV, 52) «исчерпывающий очерк души русского мужика» (1911) ²⁵, «тип великорусского мужика, исторически сложившийся тип (...) Тюлин — осторожный, но решительный разрыв с традициями народнических акафистов мужику» (1920) ²⁶ и т. д. Уже не раз было справедливо указано, что Горький в некоторых своих суждениях понимал образ Тюлина слишком расширительно, возвышая его до значения «национального русского характера» в целом и низводя тем самым русский национальный характер к типу «героя на час». Характерно, что Короленко, как это следует из воспоминаний Горького, считал такую характеристику Тюлина преувеличенной и выразил сомнение в том, «таков ли мужик вообще, каков Тюлин» (16, 242).

Но и сам Горький не раз вносил в свое понимание Тюлина важные уточнения, как он это сделал, например, в 1913 г. в письме к уральскому писателю А. Г. Туркину. Считая, что характеристику всего русского крестьянства нельзя свести к какому-нибудь одному — тургеневскому, толстовскому, чеховскому, бунинскому или короленковскому — образу, поскольку для разных частей России характерны разные народные типы, Горький утверждал: «Платон Каратаев и Калиныч несомненно русские мужики, но это мужики центральной, московской Руси, и такие типы „смирных“ людей — очень редки на Волге, едва ли возможны в Сибири, их нет на Украине». Он замечал, что чеховские мужики часто встречаются около Москвы, «...но — разве похожи на них воложжане, новгородцы, поморы». Для освещения затронутой темы очень важно замечание Горького, что если Бунин верно изобразил тип орловского крестьянина, то «для Верхнего и Среднего Поволжья этот тип почти неправда — психику волжанина наилучше уловил Короленко в лице Тюлина» ²⁷.

Следовательно, для Горького образ Тюлина не покрывал собой все русское крестьянство, тем более весь русский национальный характер, а очень метко очерчивал одну из разновидностей народного типа, причем отнюдь не самую «смирную» и не самую пассивную, отнюдь не тождественную «обломовщине».

Нетрудно понять, почему рассказ «Река играет» произвел такое большое впечатление на Горького: здесь прозвучало новое, по сравнению с народническими акафистами мужику, правдивое и трезвое слово о крестьянстве. Смысл сказанного заключался в опровержении легенды о крестьянине как о носителе готовых знаний о справедливом строе жизни, как о прирожденном социалисте. Не в своего героя, а в творцов этой легенды, неспособных честно оценить горький опыт «хождения в народ», метил Короленко, воспроизводя добродушные размышления Тюлина о том, заплеснет или не заплеснет разыгравшаяся Ветлуга заснувшего на берегу «проходящего». При этом Короленко выступил и против пессимистических выводов от-

носителем народных масс, против настроений разочарования и уныния, которые стали получать в среде народнической интеллигенции тем большее распространение, чем больше здесь прежде были распространены прекраснотушные иллюзии и упования. Тюлин пока пребывает чаще всего во власти апатии, но не это в нем главное: от него можно ждать многого, ибо его дремлющая душа заключает в себе зачатки большого ума и большого мужества, раскрывающиеся в критический момент — в тот момент, когда история забушует, подобно «разыгравшейся» реке. Примерно так можно изложить выводы, которые подсказывались читателю рассказом «Река играет».

Эти выводы были близки Горькому, но он не во всем соглашался с ними. Ведь Короленко, отказываясь от «веры старых народников», все же не порывал со всей народнической доктриной. В образе Тюлина приглушены социальные моменты: он одинаково добродушно относится и к своим обидчикам из артели, и к обидевшему артель купцу Ивахину. Тюлина можно представить пробудившимся для вдохновенного труда, но его трудно представить охваченным праведным гневом против притеснителей. Вот что побуждало Горького внести свои поправки в толкование тюлинского типа. Он сделал это не столько в суждениях о Тюлине, сколько в своем художественном творчестве, стремясь развить дальше все то глубокое и верное, что было воплощено в короленковском образе. Горький начал это делать в рассказе «Ванька Мазин» (1897), герой которого обычно пребывает в апатии, а если вдруг совершает подвиг, то после этого снова предстает перед людьми — «как всегда, равнодушный, как всегда, вялый» (3, 523). Но Мазин не мог бы отнестись к купцу Ивахину так, как отнесся к нему Тюлин. Мазин спас подрядчика, но вслед за этим выразил все свое презрение к нему, что взволновало артель не меньше, чем самый поступок. Еще глубже и еще самостоятельнее раскрыта «тюлинская» тема в рассказе Горького «Кирилка» (1899), герой которого — перевозчик Кирилка — очень похож на перевозчика Тюлина и вместе с тем существенно отличается от него. За апатией Кирилки скрыто презрение к власти имущим, ради которых он не хочет тратить свои силы. Да он и не столько апатичен на самом деле, сколько старается казаться апатичным, чтобы до поры до времени не был виден растущий в нем гнев против господ. Особенно существенные поправки к образу Тюлина и к своим публицистическим высказываниям о нем были даны Горьким в рассказе «Ледоход» (1912).

Но, прежде чем говорить об этом рассказе, следует сделать общие замечания о книге «По Руси», в состав которой он вошел (речь идет именно о книге «По Руси», составленной из рассказов 1912—1913 гг., а не о цикле, объединившем под тем же названием эту книгу с другой — «Ералаш и другие рассказы», написанной в 1915—1917 гг.). Отправив в сентябре 1912 г. Д. Н. Овсяннико-Куликовскому для журнала «Вестник Европы» рассказы «Ледоход», «Женщина» и «Покойник», Горький писал ему: «Не знаю, как озаглавить мне очерки, посланные Вам. Я имел дерзкое намерение дать общий заголовок „Русь. Впечатления проходящего“, — но это будет, пожалуй, слишком громко». Горький заменил название более скромным, но не отказался от задачи, которую раскрыл в том же письме: «Я затеял ряд очерков, подобных посланным, — мне хотелось бы очертить ими некоторые свойства русской психики и наиболее типичные настроения русских людей, как я понял их» (XXIX, 251—252). Решая эту задачу, Горький дал в книге «По Руси» целую галерею народных типов, начиная с поражающей своей душевной стойкостью крестьянки в рассказе «Рождение человека» и кончая героем рассказа «Покойник» — произведением, звучащего как гимн хлеборобу — «всех питателю». Есть в книге «По Руси» и галерея совсем других типов — тех, на которых строили свое понимание русского национального характера идейные противники Горького, видевшие в народной массе воплощение анархизма («Калинин»), «карамазовщины» («На пароходе») и т. п.

Характерно, что в рассказах, собранных в книге «По Руси», в большинстве своем повествующих о массовом голоде 1891—1892 гг., в центре внимания писателя были уже не босяки, не типы людей, «выламывающихся» из «нормального» бытия (как в ранних рассказах, изображавших тот же «голодный год»), а те, кто со-

ставлял прежде (в ранних рассказах) фон: представители согнанной с родных мест голодающей крестьянской массы. Характерно и то, что в книге «По Руси» почти всегда называются те губернии, откуда бредут в поисках работы и хлеба толпы голодающих. Например, в одном лишь рассказе «Женщина» говорится об оставивших родные места тульских, рязанских, тамбовских, пензенских крестьянах, а в рассказе «В ущелье» — о калужских, псковских и др. Для чего понадобились автору книги «По Руси» все эти обозначения? В чем смысл этой детали? Прежде всего бесконечный перечень охваченных недородом губерний помогает читателю физически ощутить всю огромность России и всю огромность страшного народного бедствия. Но дело не только в этом. Вспомним относящееся к 1913 г. письмо Горького к Туркину, где идет речь о многообразии типов, характерных для разных мест России — для центральных губерний, Поволжья, Сибири и т. д. Горькому важно было подчеркнуть многообразие русского национального характера, который шире какого-то одного типа, в частности типа «смирных» людей.

Это не значит, что Горький отрицал определенное единство национального характера. Один из персонажей рассказа «В ущелье» говорит: «Кто ее знает, что есть Россия? Каждая губерния — своя душа» (14, 313). Но так говорит человек, глубоко чуждый автору, носитель «квасного патриотизма», готовый объявить каждого несогласного с ним врагом России. Сам автор отвергал непознаваемость «русской души», но он опасался упрощения и обеднения этого понятия. Не случайно, желая изобразить в рассказе «Едут...» полную сил «веселую Русь», заставляющую вспомнить о походах Степана Разина, Горький рисует волжан: «...все верхневолжские лесные мужики, здоровый, литой народ...» (14, 352). Но и рисуя в «Рождении человека» орловскую «смирную» крестьянку, не одобряющую дерзкого отношения к начальству со стороны «бесстрашного» нижегородца — «проходящего», Горький подчеркивает в ней не пассивность и слабость, а физическую и духовную «силищу» ее, способность перенести все испытания ради новорожденного — «нового жителя земли русской» (14, 153). Любопытна и такая характеристика группы голодающих в рассказе «Женщина»: «Все это „русские“ — из центральных губерний, они дочерна сожжены непривычным солнцем юга, волосы их выгорели, ветер ершит и треплет их лохмотья, все они притворяются смирными, благочестивыми — устали от трудов, от неудач жизни...» (14, 267). «Притворяются смирными»!

Теперь можно обратиться к рассказу «Ледоход» — к рассказу о том, как артель плотников, «отрезанных от праздника» начавшимся ледоходом, решила перебраться в город по тронувшемуся льду. Им легко было утонуть, еще легче, избежав этой опасности, попасть за «нарушение порядка» в полицию. Но ничего этого не произошло из-за смелости, находчивости и хитрости старосты артели Осипа. Именно на фигуре этого артельного «воеводы», изображенного в рассказе «Ванька Мазин» (позднее появившегося в автобиографической трилогии и в «Жизни Клима Самгина»), и сосредоточен интерес писателя. Можно сказать, что рассказ и написан ради ответа на вопрос: «Что за человек Осип?» Вначале Осип предстает перед читателем как «первейший лентяй артели», сбивающий людей с работы разными «волшебными» историями. С подрядчиком он держится «льстиво, низкопоклонно», и плотники относятся к нему с недоверием, как к несерьезному человеку. Но вот наступает критическая минута, и Осип становится совершенно иным: он «словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно...» Недаром один из плотников, относившийся к нему прежде скептически, теперь восторженно восклицает: «Ну — человек!.. Это действительно — человек...» Но критическая минута проходит, и Осип снова поблек: «Стал он маленький, сморщился и словно тает...» Снова он хитрит, заискивает перед властью имущими, снова товарищи называют его «комедьяном» и «Петрушкой» (14, 155, 158, 167, 172, 174, 177). Ну чем не Тюлин, чем не «герой на час»?

Между тем Горький показывает в рассказе «Ледоход» нечто совсем иное. Когда Осип, «точно вдруг проснувшись», ведет артель через реку, он и напоминает «проснувшегося» Тюлина, и открывается иной стороной, становясь настоящим вожакom, ведущим других за собой. Горький говорит об Осипе словами, которые можно при-

нять за цитату из рассказа «Река играет»: «Он играл с рекою (...) Казалось даже, что это он управляет ходом льда..» (14, 172). Но это не «цитата», а, быть может, самое полемическое по отношению к короленьковскому образу место рассказа. Тюлин «просыпался» в тех случаях, когда не проснуться нельзя было, когда к этому принуждала «разыгравшаяся» Ветлуга. Другое дело — Осип: он сам идет навстречу опасностям, и не река с ним играет, а именно он играет с рекой, ведя людей вперед. И разве, совершив свой подвиг, он погас душой? Разве он оказался «героем на час»? Так это сначала представилось юному Максимычу, но он очень скоро понял, что Осип лишь прикинулся жалким перед полицейским, чтобы тот не отправил плотников в участок (как раньше прикидывался лентяем и болтуном, чтобы дать отдых артели). «И что ни делай, как ни кружись,— говорит он Максимычу,— ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь...» (14, 177). И хотя юному «наблюдающему» трудно с этим примириться и трудно простить Осипу разрушение окружавшего его романтического ореола, он чувствует, что «готов идти рядом с ним всюду, куда надобно,— хоть бы снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног». Рассказ недаром кончается вдохновенными словами Осипа о том, что «душа человечья — крылата» (14, 178).

Вскоре после создания книги «По Руси» с ее замечательными образами русских людей, не терявших даже в пору тяжких испытаний своего мужества, стойкости и веры в жизнь, Горький написал глубоко ошибочную статью «Две души», где заявил, что у русского человека есть две души: одна — от кочевника-монгола, пассивного мечтателя и лентяя, а другая — душа славянина, которая «может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к самозащите...»²⁸ За эту мысль Горького сразу ухватились его противники — одни для того, чтобы уличить его в отсутствии патриотизма, другие — чтобы прикрыть собственные, действительно антипатриотические позиции. И мало что тогда заметил, что эту ложную мысль опроверг сам Горький во многих своих произведениях²⁹, в частности в рассказе «Ледоход». При этом обнаружилось, что горьковские ошибки «продолжали» его несомненное достоинство — ненависть к шовинизму, усиленному начавшейся мировой войной, а выступления его противников, верные в отдельных возражениях, были порочны по своей основной милитаристской направленности. Именно такой характер носила статья Леонида Андреева «О „двух душах“ М. Горького», опубликованная в 1916 г. в № 1 журнала «Современный мир».

Эту статью горячо поддержал в письме от 23 мая 1916 г. Андрееву Амфитеатров, так объяснив свое уклонение от прямой борьбы с горьковским «пораженчеством»: «Большая дружба с Горьким и нежное чувство, которое я питаю к нему — какою, до слабости,— пренекает мне выступить против (н)его публичною полемикою, потому что пришлось бы вести ее, не жалея плеча, колотя с размаха»³⁰. Самому Горькому Амфитеатров написал еще 11 августа 1914 г., что начавшаяся война «зовет (...) с неслыханною силою к великому единству», и выдвигал такое ее «революционное» оправдание: «Ах, неужели русские левые круги упустят этот могучий момент вооруженного единения с народом и армией в общем национальном движении, неужели опять отдадут монополию на патриотизм тем слоям, которые превратили его в ругательное и постыдное слово? Было бы хуже ошибки — было бы преступлением! Я, как старый дятел, твержу то же, что твердил (осмеиваемый социал-демократами) в 1905—(1907) гг., — и оказался прав: не бывает и быть не может социальных революций в стране, не выдавшей революции национальной (...) Авось, война поможет сделать эту великую находку». Так, из-за характерных для Амфитеатрова крикливых «революционных» фраз выглянул старый нововременский шовинизм.

Мировая война, безоговорочно осужденная Горьким, сгустила его мрачные настроения. Этим и объяснялись некоторые его ложные оценки народа. Этим объяснялось и то, что в 1917 г. он в важнейшем вопросе разошелся с Лениным и большевиками: считал преждевременной социалистическую революцию, опасаясь, что анархизированная войной крестьянская масса не поддержит большевиков и обрежет пролетарский авангард на гибель. Такая позиция любимого писателя вызвала у Ленина боль и протест, но он был уверен, что Горький вернется на верный

путь. «Нет сомнения,— писал Ленин в марте 1917 г.,— что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»³¹. Победа пролетариата, сумевшего повести за собой крестьянскую массу, действительно изменила и настроения Горького, и его позицию. Вспоминая позднее о том, как он «не очень ласково» думал временами о своем народе, Горький писал: «Но „ударил час“, история скомандовала „вперед“, и люди, возмущавшие своим позорно пассивным отношением к жизни, превратились в самую активную силу мира трудящихся» (XXVI, 154).

Созидательная деятельность советских людей укрепила и усилила в писателе веру в свой народ — нельзя не вспомнить о перечне русских губерний в цикле «По Руси», читая адресованные Горьким К. А. Федину в 1924 г., согретые юмором и проникнутые оптимизмом строки: «Вот — люди наших дней (...) Я читаю их письма, вижу, на фотографиях, их донские, кубанские, нижегородские рожи и, знаете, радуюсь. Удивительный народ. Всё поглощающий народ. Толк — будет. Так или иначе, а — будет толк!»³²

III

Как ставились и решались Горьким затронутые выше проблемы — это особенно наглядно показало его отношение к выдающимся представителям русской литературы и русского искусства. В пору реакции он писал Амфитеатрову: «...болит у меня душа — нестерпимо обижена и неукротимо болит. Это потому, что я люблю всей силой сердца русскую литературу — величайшую, честнейшую литературу мира, молодую и сильную, как Васька Буслаев. И вот пришли в нее хулиганы, дегенераты, больные люди, ничтожники, полуидiotы» (Г—А, п. от 7 или 8 октября 1908 г.). То, что Амфитеатров боролся в своих статьях и сатирических произведениях с такими «ничтожниками», быстро размножавшимися в атмосфере ренегатства и оплевывания революции, и то, что он защищал при этом реалистические традиции русской литературы, вызывало у Горького симпатии к нему. Бывало, что Горький и Амфитеатров сближались не только в борьбе против литературного распада, но и в критике слабых, реакционных сторон писателей-классиков. Однако обычно за внешним сходством их позиций скрывалось глубокое внутреннее различие.

И Горький, и Амфитеатров отказались в 1908 г. участвовать в юбилее Льва Толстого. Оба они мотивировали свой отказ принципиальным несогласием с толстовской религиозно-философской проповедью, считая ее вредной. Казалось бы, их позиции в этом вопросе полностью совпадали. Но так могло показаться лишь при самом поверхностном подходе. Амфитеатров писал Горькому: «Никак не могу понять этого удивительного праздника. Если будут чествовать Льва Т(олстого)-художника, то он — во-первых, против своего искусства, а во вторых, это уже слишком спустя лето по малину. Непротивление злу — противное учение, несомненно сыгравшее вреднейшую роль (...) Что же остается для всенародного ликования и звона во все колокола? Старик, которому посчастливилось дожить до 80 лет. Но бывают литературные старики еще и старше. Например, Жемчужникову сейчас 87 лет. Словом, с какой стороны ни поверни — недоумение...» (А—Г, п. от 14 марта 1908 г.). Учение Толстого вызывало у Горького не менее отрицательное отношение, но он не считал, что великое значение художественного гения Толстого отошло в прошлое. Отказываясь участвовать в юбилейном комитете, Горький писал С. А. Венгеру: «...с лишком двадцать лет с этой колокольной раздачей звон, всячески враждебный моей вере». При этом он признавал: «Граф Лев Толстой — гениальный художник, наш Шекспир, может быть. Это самый удивительный человек, коего я имел наслаждение видеть» (XXIX, 74).

О том же шла речь в ответе Горького на процитированное письмо Амфитеатрова: «Чествование „Льва Великого“ — мною тоже плохо понимается. Вижу в этом начало какой-то игры (...) Вы представьте-ка себе все это современное наше „культурное“ общество: половинок, эстетов, кадетов и прочих не помнящих родства своего людей,— видите Вы их серый и душный вихрь вокруг колосса? Пусть он,

Толстой, чужой мне человек духовно, — и — он краса и гордость моя, — разве он для того, чтобы за ноги его хваталась вся эта полуумная, разбитая, искаженная масса „неустойчивой психики“? Таким образом, Горький отказывался от участия в юбилейных торжествах не потому, что считал позднего Толстого недостойным всенародного чествования (такая мысль, с его точки зрения, могла родиться лишь у «не помнящих родства своего людей»), а потому, что увидел начало «какой-то игры» на этом юбилее. Сообщая К. П. Пятницкому о своем намерении подготовить сборник статей о Толстом, Горький пояснял: «Сие необходимо. Видимо, мещанство хочет уцепиться за Толстого и создать вокруг его грандиозно пошлый кавардак» (XXIX, 57).

О том же шла речь и в ответе Горького Амфитеатрову: «Кажется мне, что всероссийское мещанство хочет устроить генеральную мобилизацию своих сил и что предполагаемое торжество должно играть роль как бы само-смотра. Если это так — жалко Толстого (...) И вся эта затея — Вы правы — непонятна, если это не есть желание мещан объявить Толстого — всего! — своим. Преподлая экспроприация — не правда ли?»

Горький соглашался с тем, что затеваемая игра «непонятна», но, стремясь понять ее, предложил объяснение, резко отличное от амфитеатровского: он оценивал эту «игру» как попытку мещанства «экспроприировать» великого писателя. Если Амфитеатров опасался чрезмерного восхваления Толстого, то Горького тревожило нечто прямо противоположное — возможность принижения его до уровня мещанского понимания. Из этого ясно, как искажался смысл горьковских острополюмических «Заметок о мещанстве» теми, кто обвинял их автора в отнесении Толстого к мещанам. В «Заметках» шла речь о другом — о том, что «социальная педагогика» Толстого и Достоевского берется мещанами на вооружение, используется ими для борьбы против революционных идей и для защиты своего «строя души». Уже в этих «Заметках», опубликованных в 1905 г. в большевистской газете «Новая жизнь» и поддержанных в 1906 г. В. И. Лениным в его работе «Победа кадетов и задачи рабочей партии», а затем и в письмах к Горькому, изобличалась попытка мещан «объявить Толстого — всего! — своим».

Еще отчетливее обозначилось различие отношений Горького и Амфитеатрова к Льву Толстому в 1910 г. Смерть Толстого потрясла Горького: он воспринял ее как несчастье для русской литературы и вообще для России и как свое личное горе. Эти чувства выразились в его неотсланном письме к В. Г. Короленко, включенном впоследствии в очерк-портрет «Лев Толстой» и содержащем проникновенные слова: «Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...» (16, 295). Он писал Е. П. Пешковой: «Никогда в жизни моей не чувствовал себя так сиротливо, как в этот день, никогда не ощущал такой едкой тоски о человеке (...) Уходит из жизни нашей, бедной и несчастной, — самый красивый, мощный и великий человек (...) С ним исчезает старый паладин правды...». И в другом письме к ней: «Как раз теперь я занимаюсь русской историей, и, чем более понятно мне наше прошлое, — тем выше растет Толстой как выразитель духа нации, это в полном и обширном смысле слова — гений народный»³³. То же чувство и те же мысли выразились в его письмах к И. А. Бунину³⁴, М. М. Коцюбинскому (XXIX, 137), Амфитеатрову. В одном из писем к последнему есть слова, отразившие всю ту бурю чувств, которая поднялась тогда в душе Горького: «...овладело мною горестное чувство сиротства, и кажется, что в сердце России тоже открылась черная дыра (...) Отошла в область былого душа великая, душа, обьявлявшая собою всю Русь, все русское, — о ком, кроме Толстого Льва, можно это сказать? (...) Уговариваю себя: да ведь ты едва ли и любишь его? Ведь не согласен ты с ним и враждебен даже тебе он, проповедник пассивного отношения к жизни, человек, воплотивший в огромной душе своей все недостатки нации; он последняя — быть может — вспышка древней русской крови — крови, отживающей свой век? А что в том? Доводы разума — не влияют, и душа болит все мучительней..» (Г—А, п. от 21 ноября 1910 г.).

Амфитеатров ответил словами, подобными холодному душу, — в них сквозит почти не скрываема ирония: «Дорогой Алексей Максимович, ужасно мне жаль,

что Вам так жутко пришлась смерть Льва Николаевича. Чего Вы уж так? Ведь, собственно-то говоря, он уже лет пятнадцать как умер, а выходы его из яснополянской могилы были столь же полезны, как появление привидения» (А—Г, п. от 23 ноября 1910 г.). Амфитеатров, следовательно, относил к «появлениям привидения» и роман «Воскресение», и другие произведения Толстого последнего периода — все то, в чем В. И. Ленин увидел главное основание для вывода о Толстом как о «зеркале русской революции». Знакомство с посмертными публикациями произведений Толстого не только не смягчило скептицизма Амфитеатрова, но и усугубило его. Правда, и отношение Горького к этим публикациям было не всегда положительным (он явно несправедливо оценил пьесу «Живой труп»³⁵). Однако он был очень далек от позиции Амфитеатрова, который писал ему: «...„Фальшивый купон“ — так он и есть фальшивый купон от „Серенькой“ старика Даля, а что касается прочего, то я глубоко уверен, что Л. Н. никогда не ожидал от своих наследников такого свинства, чтобы вытащили они на свет белый этот сор, в особенности драматический» (А—Г, п. от 6 декабря 1911 г.). И уж во всяком случае Горький не мог сочувствовать попытке Амфитеатрова подвергнуть переоценке даже такие произведения Толстого, как «Война и мир». Достаточно сравнить слова Горького о том, как по мере изучения им русской истории все больше растет в его глазах фигура Толстого, со следующими размахистскими и, как мы сегодня сказали бы, вульгарно-социологическими суждениями Амфитеатрова: «А Толстого я все меньше любить начинаю. Прошлогоднее мое изучение 1812 года разбило мне сорокалетний мираж „Войны и мира“: красочно и художественно, что и говорить, но — барином писано, барское и вышло. А народа нет. Народ-то Платоном Каратаевым оказался» (А—Г, п. от 2 февраля 1912 г.).

Особенно поучительно сопоставить отношение Горького и Амфитеатрова к «уходу» Толстого. Амфитеатров спокойно отнесся к смерти великого писателя, считая его давно умершим для литературы, — совсем иное отношение вызвал у Амфитеатрова его предсмертный «уход». «Так взволнован „концом Толстого“, что не могу ни о чем другом думать, — писал он Горькому. — Если это не кончится полицейско-софьиной комедией, то это — начало религии (...) Молодчина-старик! Честно загнул конец свой. Лишь бы не испакостили родня и сердобольные друзья» (А—Г, п. от 14 ноября 1910 г.). К этой теме он вернулся в другом письме к Горькому: «Я не любил его последнее десятилетие, но на меня, как я и писал Вам, произвело сильное впечатление его предсмертное путешествие — желание большого и благородного зверя нарушить неволю свою и хорошо, честно умереть. К сожалению, и то не вышло, и то милая русская публика испакостила и обратила в постыднейший спектакль» (А—Г, п. от 23 ноября 1911 г.). Значит, Амфитеатрова огорчило то, что не состоялось «начало религии» — новой религии, выросшей из философско-нравственного учения Толстого? Да, огорчило, хотя он не раз высказывал свое отрицательное отношение к этому учению и даже так писал о нем Горькому: «В век пролетариата носиться с такою игрушкой просто конфузно» (А—Г, п. от 14 марта 1908 г.). Это противоречие было крайне характерно для Амфитеатрова. Он раньше других, в самом начале века, охарактеризовал Горького в печати как великого пролетарского писателя (Горький поблагодарил Амфитеатрова за такую оценку, хотя считал ее гиперболической). Однако вершину горьковского творчества он увидел позднее — в повести «Исповедь», заявив: «Я, знаете, твердо уверен, что в „Исповеди“ стали Вы на путь к литературному евангелию и дадите нам его всенепременно и самостоятельно...» В этом же письме Амфитеатров формулировал свое понимание революционного значения Горького — как значения «самодовлеющего» (а не «служебного») по отношению к революции и как всецело определяемого национальной природой горьковского дарования (А—Г, п. от 14 августа 1909 г.).

Хотя Горький и пережил кратковременное увлечение богостроительством, он отнесся отрицательно к попытке Толстого утвердить свою религию предсмертным «уходом». Соглашаясь с Амфитеатровым в том, что «уходом» Толстого попытаются воспользоваться для укрепления его религии, Горький высказал по этому поводу не удовлетворение, а тревогу: «Вы правы, конечно, теперь начнут „творить

легенду“, и это будет противно, будет вредно для страны (...) А мы — останемся, и дело наше — с нами. Нам — бороться против религиозной легенды» (Г—А, п. от 17 ноября 1910 г.). Прочитав сообщение о «бегстве» Толстого, Горький писал В. Г. Короленко: «Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в „житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва“ (...) Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают „творить легенду“, — жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого» (16, 288, 294). Тогда же Горький признавался Коцюбинскому: «Был взорван „бегством“ Льва Николаевича, поняв прыжок этот как исполнение заветного его желания превратить „жизнь графа Льва Толстого“ в „житие иже во святых отца нашего боярина Льва...“» (XXIX, 137). И Е. П. Пешковой: «...„Бегство“ Л(ьва) Н(иколаевича) из дома, от семьи, вызвало у меня взрыв скептицизма и почти озлобление против него, ибо, зная его давнее стремление „пострадать“ для того только, чтоб увеличить вес своих религиозных идей, давление проповеди своей, — я почувствовал в этом „бегстве“ нечто рассудочное, подготовленное»³⁶.

Для чего понадобились здесь все эти цитаты? Для того чтобы не осталось никаких сомнений относительно содержания не дошедшего до нас письма Горького Ленину и относительно смысла ленинского ответа, датированного 3 января 1911 г.: «Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будут делать»³⁷. Из этих слов следует, что В. И. Ленин согласился с горьковской оценкой «ухода», что он также связал его не с сильной, а со слабой стороной Толстого. Впрочем, уже тот факт, что ни в одной из своих статей о нем В. И. Ленин ни словом не упомянул об его «уходе», о котором тогда так много говорили и писали (как о религиозном подвиге или как о новом примере «хождения в народ»), — уже этот факт достаточно красноречив. Также не считая уместным касаться этой темы в печати, Горький открыто высказал свою точку зрения много лет спустя, в 1924 г., в очерке «О С. А. Толстой». Отвечая на книгу В. Г. Черткова «Уход Толстого», Горький писал: «По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. „Уход“ Толстого сократил его жизнь, ценную до последней ее минуты, — вот неоспоримый факт» (16, 372). Нельзя не удивляться появлению в наше время работ, возрождающих легенду об «уходе» Толстого как о подвиге — пусть и не как о религиозном, а как о революционном. Трудно сказать, какой из этих взглядов более ложен.

Еще раз позиции Горького и Амфитеатрова скрестились в 1911 г. при оценке знаменитого шалашинского «инцидента». Известие о «коленопреклонении» Шалашина вызвало у Горького и боль, и гнев. Еще не зная всех обстоятельств происшедшего, он написал Амфитеатрову в конце января 1911 г.: «Нестерпимо больно и обидно читать, как гений русский — гений народный! — холопствует пред мерзавцем (...) Писать Федору — не буду, я давно уж не пишу ему (...) Тяжко, милый Ал. Вал! Экая несчастная страна!» Тогда же он писал Бунину: «...поистине надо иметь душу каменную, чтобы жить в эти проклятые черные дни, когда торгуют Толстым, и Федор Шалашин, гений народный, становится на колени пред Николаем Романовым, бездарнейшим из людей»³⁸. Когда, через несколько месяцев после «инцидента», Шалашин написал Горькому, что хотел бы приехать к нему, ответ был резок: «Получил я твое письмо, Федор Иванович, и — задумался, сильно удивленный его простотой и краткостью (...) Мне жалко тебя, Федор, но так как ты, видимо, не сознаешь дрянности совершенного тобою, не чувствуешь стыда за себя — нам лучше не видаться, и ты не приезжай ко мне» (XXIX, 166—167). Горький сообщил Е. П. Пешковой: «...тяжко было впечатление от письма Шалашина, — парень явно не понимает своего поступка, считает себя несправедливо оскорбленным, капризничает и прочее. Очень противно»³⁹. Но встреча все же состоялась, хотя и с большим опозданием (до этого Горький при свидании с Лениным в Париже сказал ему о шалашинском «инциденте» так, как не сказал бы немного позднее⁴⁰).

Шалашин приехал на Капри и рассказал своему другу о всех подробностях происшедшего. Это объяснение не оправдало его в глазах Горького, но все же позволило «распутать всю эту дикую путаницу» и «отделить правду ото лжи, клеве-

ты и всяческого злопыхательства» (XXIX, 189). В письме, которое предназначалось для публикации, Горький писал о шуме, поднятом вокруг «коленопреклонения»: «...как это случилось, почему, насколько Шалапин действовал сознательно и обдуманно, был ли он в этот момент холопом или просто растерявшимся человеком — над этим не думали, в этом не разбирались, торопясь осудить его. Ибо осудить Шалапина — выгодно (...) Российские моралисты очень нуждаются в крупных грешниках, в крупных преступниках, ибо в глубине души все они чувствуют себя самих преступниками против русского народа и против вчерашних верований своих, коим изменили (...) Ф. Шалапин — лицо символическое; это удивительно целостный образ демократической России, это человецище, воплотивший в себе все хорошее и талантливое нашего народа, а также многое дурное его. Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ!» (XXIX, 186, 187) ⁴¹.

Амфитеатров осудил Шалапина безоговорочно и бесповоротно. Он сообщил Горькому: «Думаю написать сказку о Федюхе, дворовом холопе, да, вот, где газета, которая напечатает ее „на закрытие“?» Шалапину он написал, что увольняет его «от неприятностей нашей старой дружбы» (А—Г, п. от 26 января 1911 г.).

Когда Шалапин приехал на Капри, Горький позвал к себе и Амфитеатрова, написав, что «этого человека нельзя отталкивать», что Шалапин «растерялся и сделал глупость», а другие «этим воспользовались и истолковали глупость как холопство» (Г—А, п. от 15 или 16 сентября и 20 или 21 сентября 1911 г.). Амфитеатров от встречи с Шалапиным уклонился, а по поводу его более позднего предложения совместной работы написал Горькому: «Купец Шалапников, по обыкновению, строит деточку и наивничает» (А—Г, п. от 18 марта 1912 г.). Горький имел полное основание писать Амфитеатрову: «...жалко, что мы столь круто расходимся во взглядах на это дело» (Г—А, п. от 20 или 21 сентября 1911 г.). И понятны его слова в письме к Е. П. Пешковой: «Амф(итеатров) — тоже „политику делает“, но — не очень искусно и — едва ли хорошо. Очень талантливый человек, и я его за многое уважаю, но — письма к Шалапину не могу простить. Разве ты влезла бы на плечи упавшего, для того лишь, чтоб тебя — тебя — виднее было людям (...) А он — влез. Не может забыть „Нового времени“, своего прошлого и старается все — чтоб другие забыли об этом». И в другом письме к ней: «И ты — права, сказав, что перепиской я ничего не добьюсь от Амфитеатрова, так и вышло. Он — столь свирепо радикальничает в своих письмах, что мне даже неловко было читать их, очень уж „молодо“, „прямолинейно“ и — напоказ. В нем, к сожалению, весьма развит этот „наклон души“ — действовать напоказ» ⁴².

Необходимо подчеркнуть: из всего этого отнюдь не следует, что Горький «простил» Шалапину его проступок и хотел лишь того, чтобы великого артиста оставили в покое. Он писал Е. П. Пешковой: «Дорого стояло Федору все это, а еще не все, не вполне оплачено им и — жутко за него» ⁴³. Горькому представлялось целесообразным (как он сообщал об этом Н. Е. Буренину), чтобы Шалапин выступил «перед публикою с письмом», в котором «признает себя повинным в том, что, растерявшись, сделал глупость (...) признает возмущение порядочных людей естественным и законным (...) расскажет, как и откуда явились пошлые интервью и дрянные телеграммы, кои ставятся в вину ему» (XXIX, 189). Позднее Горький писал Н. Е. Буренину: «Верно ли вы сделали, отговорив Федора от объяснения с публикою? Пожалуй — нет; ведь публика злопамятна и долго носит камень за пазухой, особенно долго в том случае, когда она имеет право кинуть камнем в грешного» (XXIX, 205). Опасения Горького оказались весьма основательными, и не только в том отношении, что «публика» еще не раз кидала «камни» в «грешника». Более существенным было другое: уклонение от необходимой общественной акции закрепило в Шалапине те стороны его характера, которые потом сказались роковым образом на всей его судьбе. Следует подчеркнуть: «радикальничанье» и грубости Амфитеатрова действовали на Шалапина не лучше, чем подхалимское отношение к нему худшей части его окружения. И то и другое мешало развитию в артисте чувства гражданского достоинства, чувства ответственности перед народом. А именно об этом заботился Горький, когда писал Шалапину: «...если бы ты мог

понять, как горько и позорно представить тебя, гения,— на коленях пред мерзавцем, гнуснейшим всех мерзавцев Европы» (XXIX, 167).

Почти одновременно с этими событиями произошли другие, связанные с протестом Горького против инсценирования «Бесов» в Московском Художественном театре. Посылая в начале декабря 1911 г. В. П. Кранихфельду для опубликования в журнале «Современный мир» воспоминания польского политического деятеля Симона Токаржевского о пребывании его на каторге вместе с Ф. М. Достоевским, Горький так пояснил свою рекомендацию: «Мне кажется, что в наше время роста зоологического национализма освещение личности одного из основоположников этого настроения — вполне уместно и своевременно». Кранихфельд усомнился в этом, считая, что «при обострении в наши дни национальных вопросов перевод заметки Токаржевского о Достоевском только подольет масла в огонь...» Горький решительно оспорил это мнение: «Не понимаю Вашего выражения „подливать масла в огонь“, что же Вы,— думаете погасить начинающийся пожар молчанием о нем? С Вашими суждениями о Достоевском я, конечно, тоже не согласен: это его „философию“ питается современная реакция в сторону индивидуализма и нигилизма, именно на ней базируется весь „внутренний враг“ демократии; пришла пора выступить против достоевщины на всех ее пунктах» (Г—СМ, п. 16, 17, 18).

Необходимо различать отношение Горького к Ф. М. Достоевскому и к «достоевщине». Под последней Горький разумел отрицательные стороны «социальной педагогики», философско-религиозной проповеди Достоевского, взятые на вооружение реакционными кругами и противопоставленные росту революционного сознания. Когда Иванов-Разумник заявил (в связи с горьковским протестом против инсценирования романа «Бесы»), что Горький идет на Достоевского с «оружием общественной цензуры.. со словами не только осуждения, но и запрета»⁴⁴, Горький ответил ему в письме от 16/29 октября 1913 г.: «Меня несколько удивило в отзыве Вашем то, что Вы отрицаете за обществом право протеста против тенденций реакционных — или я не понимаю Вас?» При этом он раскрыл всю не понятую Ивановым-Разумником и другими литераторами-индивидуалистами, защитниками «абсолютной свободы» идейного творчества, сложность своего отношения к автору «Бесов»: «...Чем более изучаю его,— тем более он возмущает меня (...) Это, однако, не значит, чтоб я, читая Достоевского, не маялся душевно вместе с ним страхом и болью за Русь; не люблю его мысль, мне враждебно его извращенное чувство, но — весь он, кругом взятый, величайший из великомучеников русских» (Г—Ив-Р, п. 9). Надо вспомнить о том, что Горький даже в острополюемических «Заметках о мещанстве» отнес Достоевского как художника к «величайшим гениям» (XXIII, 352) и что вообще ему принадлежали не только резко критические, иногда слишком резкие оценки Достоевского, но и очень высокие, пожалуй, самые высокие из всех известных оценок.

В сентябре 1912 г. Горький сделал в письме к Амфитеатрову такое замечание о Достоевском: «Ох, пора осветить эту мрачную фигуру светом ясным!» (Г—А, п. от 26 сентября 1912 г.). О намерении МХТ поставить «Бесы» Горький, видимо, узнал от артиста Л. М. Леонидова, когда в июле 1913 г. встретился с ним в Италии, в Римини, и сразу высказал резко отрицательное отношение к «затее» театра. А в начале сентября он написал с Капри В. И. Немировичу-Данченко: «Инсценировку произведений Достоевского я считаю делом общественно вредным, и если бы я был в России, то непременно попытался бы возбудить в обществе протест против Ваших опытов, будучи убежден, что они способствуют разрушению и без того не очень здоровой общественной психики. Может быть, я попробую сделать это отсюда»⁴⁵. О главных выступлениях Горького против «достоевщины» (о его статьях «О „карамазовщине“» и «Еще о „карамазовщине“», появившихся в сентябре—октябре 1913 г. на страницах газеты «Русское слово») и о вызванной ими ожесточенной идейной борьбе уже много написано. Хотя эти выступления содержали в себе полемические преувеличения, их цель была ясна и глубоко оправдана: устранить все, что могло помешать новому революционному подъему и связанному с ним «подъему духа». Вот почему эти выступления были поддержаны Лениным и ленинской «Правдой».

Что касается Амфитеатрова, то его реакция показала, как легко иной раз превращается самое отчаянное радикальничанье в общественную пассивность, а страсти к размашистым и хлестким обличениям — в безразличие к духовным ценностям. Амфитеатров иронически отнёсся в 1913 г. к горьковскому протесту против инсценирования «Бесов», но не потому, что был не согласен с этим протестом по существу, а потому, что считал недостойным серьезного внимания вопрос о репертуаре театров и вообще о современном театральном искусстве, даже о таких его явлениях, как Шаляпин и Московский Художественный театр. Он писал Горькому: «...в то время, как русская борьба за свободу околела буквально с голоду, 10 000, дежурящих у Большого театра, чтобы купить по преувеличенным ценам билет на Шаляпина, или тот театр для коммерческой аристократии, который Вы увещеваете не ставить Достоевского, кажутся мне, как хотите, препротивными явлениями рабской страны» (А—Г, п. от 25 ноября 1913 г.).

Горький также «противопоставил» в то время русское искусство русскому народу, но при этом, возвеличив народ, нисколько не принизил искусство. В статье «Еще о „карамазовщине“», в той самой, которая обрадовала В. И. Ленина как «ответ на „вой“ за Достоевского»⁴⁶, Горький сказал своим оппонентам: «И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ ее — значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас» (ХХIV, 156). Под этими словами подписались бы и Пушкин, и Достоевский, и Толстой.

Затронутые выше вопросы не исчерпывают содержания публикуемой переписки. Она существенно дополняет наши знания об отношении Горького к важным историческим событиям. Интересно в этом отношении его письмо к Амфитеатрову, написанное 20—21 февраля/5—6 марта 1905 г. В этом письме есть, между прочим, такие слова: «В тюрьме я несколько отдохнул от „впечатлений бытия“ и разобрался в них. 9-го я с утра до вечера был на улицах Питера и видел, как русские солдатики, защищая „престол-отечество“, убивали безоружных людей и — кстати — убили престиж самодержавия». Некоторые письма Горького дополняют наши знания об его отношении к различным литературным направлениям и течениям. В письме к Кондурушкину 12/25 февраля 1908 г. Горький сообщал: «Я усердно читаю „шкандаль-литературу“, как вы ее назвали, „модерн“; к(а)к называют другие (...) Началось это — давно, еще в 90-х годах, со времен Волынского. Все эти г.г. „идеалисты“ — его детки» (Г—К, п. 5).

Особое место занимают в настоящем томе материалы, связанные с Г. А. Лопатиным. Крупная и яркая личность этого революционера давно привлекает к себе внимание историков, литературоведов, романистов. Наименее освещенными до последнего времени оставались отношения Лопатина с Горьким. Предлагаемые читателю публикации в значительной мере восполняют этот пробел.

Из публикуемых материалов явствует, что Горький и Лопатин сразу, уже после первой своей встречи, отнеслись друг к другу с большой симпатией и с глубоким уважением. Горький очень высоко оценил Лопатина в письмах к Е. П. Пешковой («это — человек исключительных способностей, в нем есть задатки гениальности»⁴⁷), Л. А. Суллержицкому («сказочный человек»⁴⁸) и другим, а в написанных после смерти Лопатина «Заметках читателя» охарактеризовал его как «одного из талантливейших русских людей» (ХХIV, 275). Такие оценки не могут нас удивлять. В свое время К. Маркс писал о Лопатине: «Не многих людей я так люблю и уважаю, как его»⁴⁹, а Ф. Энгельс заметил о Лопатине, что он — «смелый, до безумия смелый»⁵⁰ (при этом Энгельс высказал надежду, что Лопатин, «сохранив смелость», освободится от «безумия»). Отвечая на предложение написать о Лопатине, Энгельс замечал: «Я всегда охотно напишу все, что могу, для подтверждения и признания больших заслуг Лопатина в борьбе за наше дело»⁵¹. Известно, что Лопатина глубоко уважал и любил И. С. Тургенев, хотя знал об его отрицательном отношении к изображению революционеров в романе «Новь», и что Г. И. Успенский собирался написать роман «Удалой добрый молодец» с героем, прототипом

для которого должен был послужить Лопатин. Все это объяснялось не только обаянием героической личности Лопатина и его полной испытаний и подвигов жизни (публикации настоящего тома добавляют к ранее известному новые интересные штрихи), а и его многообразными делами. Никогда не будет забыто, что он первый начал переводить на русский язык «Капитал».

Но почему, несмотря на сразу возникающую и ничем позднее не омраченную сердечную близость между Горьким и Лопатиным, их отношения не получили такого развития, какого, казалось бы, следовало ожидать? Конечно, могли сыграть роль и случайные обстоятельства внешнего порядка. Однако главное, видимо, заключалось в другом. Не являясь народническим доктринером, Лопатин смог оценить по достоинству значение работ Маркса, но он не стал последовательным марксистом. «А какое же направление может быть при „исключительном участии“ Амфи-театрова? — писал В. И. Ленин Горькому 22 ноября 1910 г. по поводу его участия в журнале „Современник“, — ведь не Г. Лопатин способен дать направление...»⁵² А 3 января 1911 г. он вернулся к этому вопросу в другом письме к Горькому: «Насчет „Современника“. Читаю сегодня в „Речи“ содержание 1-ой книжки и ругаюсь, ругаюсь. Водовозов о Муромцеве... Колосов о Михайловском, Лопатин „Не наши“ и т. д. Как тут не ругаться?» И в том же письме, одобряя стремление Горького бороться против толстовской религиозной проповеди, Ленин замечал: «Но где же „Современнику“ бороться против „легенды о Толстом и религии его“. Это — Водовозов с Лопатиным? Шутить изволите»⁵³. Вспомним и следующее место статьи В. И. Ленина «О праве наций на самоопределение»: «Маркс имел обыкновенное „щупать зуб“, как он выражался, своим знакомым социалистам, проверяя их сознательность и убежденность. Познакомившись с Лопатиным, Маркс пишет Энгельсу 5 июля 1870 года в высшей степени лестный отзыв о молодом русском социалисте, но добавляет при этом: „...Слабый пункт: *Польша*. По этому пункту Лопатин говорит совершенно так же, как англичанин — скажем, английский чартист старой школы — об Ирландии“.

Социалиста, принадлежащего к угнетающей нации, Маркс расспрашивает об его отношении к угнетенной нации и сразу вскрывает *общий* социалистам господствующих наций (английской и русской) недостаток: непонимание их социалистических обязанностей по отношению к нациям подавленным...»⁵⁴

Разумеется, эти замечания не могут принизить революционных заслуг героического борца против самодержавия (Ленин недаром напомнил о том, какой «в высшей степени лестный отзыв» дал Маркс о Лопатине). Германа Лопатина можно с полным правом отнести к тем, о ком В. И. Ленин сказал: «блестящая плеяда революционеров 70-х годов»⁵⁵. Но эти замечания требуют конкретно-исторического подхода к каждому деятелю прошлого, объективного учета его сильных и слабых сторон. Что же касается отношений Горького и Лопатина, то, как видно из впервые публикуемых в томе материалов, эти отношения не были продолжительными. И все же встречи с замечательным революционером не прошли для Горького бесследно. Несомненное значение имел для него, в частности, тот опыт, которым обладал Лопатин в разоблачении провокаторов. Эта тема привлекала к себе внимание Горького-художника, отразившись в ряде его произведений, вплоть до рассказов 20-х годов и «Жизни Климата Самгина».

Материалы настоящего тома проливают новый свет на многие стороны творчества великого писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Социал-демократические и общедемократические издания. М.: Наука, 1981; Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982; Русская литература и журналистика начала XX в. 1905—1917. Большеви́стские и общедемократические издания. М.: Наука, 1984; Русская литература и журналистика начала XX в. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1985.

- ² Русское богатство. 1904. № 2. С. V.
- ³ В. И. Ленин. Т. 48. С. 3—5.
- ⁴ Касаясь в 1914 г. в статье «Капитализм и печать» внутренних ссор «нововременцев», В. И. Ленин вспоминал о том, как «очень любящий» Амфитеатрова А. С. Суворин не мог «отказать себе в удовольствии причинить ему неприятность» и как Буренин «вышел» Амфитеатрова из газеты (В. И. Ленин. Т. 25. С. 8).
- ⁵ Арх. Г. Т. IV. С. 72.
- ⁶ Там же. Т. V. С. 107.
- ⁷ В. И. Ленин. Т. 48. С. 47—48.
- ⁸ Там же. Т. 1. С. 531.
- ⁹ Там же. Т. 48. С. 228.
- ¹⁰ Там же. Т. 1. С. 531.
- ¹¹ Там же. Т. 48. С. 84.
- ¹² Там же. Т. 6. С. 9—10.
- ¹³ Там же. Т. 12. С. 102—104.
- ¹⁴ Там же. Т. 39. С. 264.
- ¹⁵ Там же. Т. 44. С. 78.
- ¹⁶ Полярная звезда. 1905. № 2. 22 дек.
- ¹⁷ Арх. Г. Т. IX. С. 135.
- ¹⁸ Цит. по ст.: *Давыанинов Б. К.* Творческая переключка // М. Горький и его современники. Л., 1968. С. 15.
- ¹⁹ Горький М. Статьи 1905—1916 гг. 2-е изд. Пг.: изд-во «Парус», 1918. С. 3.
- ²⁰ В. И. Ленин. Т. 44. С. 323.
- ²¹ Там же. Т. 48. С. 227.
- ²² Там же. Т. 19. С. 252.
- ²³ Амфитеатров. Т. 15. С. 378.
- ²⁴ В. И. Ленин. Т. 17. С. 212—213.
- ²⁵ МИ. Т. III. С. 137.
- ²⁶ Чуковский К. Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. Воспоминания. М., 1940. С. 122—123.
- ²⁷ Урал. 1968. № 3. С. 150.
- ²⁸ Горький М. Указ. соч. С. 184. Статья «Две души» была впервые напечатана в 1915 г. в первом (декабрьском) номере журн. «Летопись».
- ²⁹ См. в наст. томе предисловие А. В. Лаврова к публикации реферата Иванова-Разумника «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции».
- ³⁰ ЦГАЛИ, ф. 34.
- ³¹ В. И. Ленин. Т. 31. С. 49.
- ³² ЛН. Т. 70. С. 478.
- ³³ Арх. Г. Т. IX. С. 105—106, 107.
- ³⁴ Горьк. чт. 1961. С. 53—54.
- ³⁵ Арх. Г. Т. IX. С. 124.
- ³⁶ Там же. С. 105.
- ³⁷ В. И. Ленин. Т. 48. С. 11.
- ³⁸ Горьк. чт. 1961. С. 58.
- ³⁹ Арх. Г. Т. IX. С. 115.
- ⁴⁰ В. И. Ленин. Т. 26. С. 96.
- ⁴¹ В 1902 г. Горький, Бунин, Андреев, Скиталец и другие литераторы писали в адресе Шаляпину: «Мы смотрим на тебя как на глашатая о силе духа русского народа, как на человека, который, опередив сотни талантов будущего, пришел к нам укрепить нашу веру в душу нашего народа, полную творческих сил» (ЛН. Т. 72. С. 165).
- ⁴² Арх. Г. Т. IX. С. 120, 123.
- ⁴³ Там же. С. 119.
- ⁴⁴ Биржевые ведомости. 1913. № 1372. 8 окт.
- ⁴⁵ Цит. по кн.: *Бялик В. М.* Горький — литературный критик. М., 1960. С. 249.
- ⁴⁶ В. И. Ленин. Т. 48. С. 226.
- ⁴⁷ Арх. Г. Т. IX. С. 80.
- ⁴⁸ Новый мир. 1961. № 6. С. 187.
- ⁴⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 33. С. 403.
- ⁵⁰ Там же. Т. 36. С. 3.
- ⁵¹ Там же. С. 483.
- ⁵² В. И. Ленин. Т. 48. С. 4.
- ⁵³ Там же. С. 11—12.
- ⁵⁴ Там же. Т. 25. С. 300.
- ⁵⁵ Там же. Т. 6. С. 25.